



АНДРЕЙ НЕМЗЕР

«Мне выпало счастье
быть русским
поэтом...»

ПЯТЬ
СТИХОТВОРЕНИЙ
ДАВИДА САМОЙЛОВА

Андрей Семенович Немзер
«Мне выпало счастье
быть русским поэтом...»
Серия «Диалог (Время)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58143341

*«Мне выпало счастье быть русским поэтом...»: Пять стихотворений
Давида Самойлова / Андрей Семенович Немзер: «Время»; Москва; 2020
ISBN 978-5-9691-2016-7*

Аннотация

Книга посвящена анализу одной из важнейших смысловых линий поэзии Давида Самойлова – его рефлексии как над собственным литературным делом, судьбой, миссией, так и над более широкими проблемами (назначение поэзии и поэта, участь поэта в России и ее особенности в XX столетии). В пяти главах анализируются стихотворения, написанные на разных этапах творческого пути: «Из детства» (1956), «Старик Державин» (1962), «Поэт и гражданин» (1970–1971), «Ночной гость» (1972), «Мне выпало счастье быть русским поэтом...» (1981). В то же время перед читателем разворачивается история не только Самойлова, но и русского поэта второй половины XX века да и поэта вообще: обретение дара в детстве, вхождение в литературу в молодости, сопряжение достигнутого высокого статуса и

тяжелой ответственности в зрелости, подведение итогов на пороге старости. Большое внимание уделено включенности поэзии Самойлова в национальную традицию, его диалогу с предшественниками и современниками (Державин, Пушкин, Ахматова, Пастернак, Слуцкий, Бродский и др.). Книга написана ординарным профессором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андреем Немзером, автором сопроводительных статей, составителем, комментатором ряда представительных изданий поэзии, прозы и эпистолярия Самойлова.

Содержание

Пять предуведомлений	6
Предуведомление первое. О теме предлежащего сочинения	6
Предуведомление второе. О герое	19
Предуведомление третье. О жанре и методологии	26
Предуведомление четвертое. Об истории вопроса	32
Предуведомление пятое. О том, как все это началось	44
Глава 1. «Из детства» (1956)	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Андрей Немзер

«Мне выпало счастье быть русским поэтом...»

Художественное электронное издание

Оформление и макет
Валерий Калныныш

Редактор *Наталья Рагозина*
Художественный редактор *Валерий Калныныш*
Верстка *Оксана Куракина*
Корректор *Елена Плёнкина*

© А. С. Немзер, 2020

© «Время», 2020



Пять предуведомлений

Предуведомление первое. О теме подлежащего сочинения

Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нет у их. И все разрешено¹.

Стихотворение это впервые было опубликовано в пятой книге Давида Самойлова [В: 36], то есть пришло к читате-

¹ *Самойлов Давид*. Стихотворения. СПб., 2006. С. 165. Далее страницы этого издания даются в тексте в квадратных скобках – [165]. Дневники поэта цитируются по изданию: *Самойлов Давид*. Поденные записи: В 2 т. М., 2002; римская цифра обозначает том, арабская – страницу; например, [II, 7]. В остальных случаях в квадратных скобках дается ссылка к списку литературы; если цитируется многотомное издание, римская цифра обозначает том. При цитировании стихотворных текстов в подбор, косая черта (/) означает строкораздел, две косых черты (//) – строфоперел.

лю в 1978 году. Родилось оно одиннадцатью годами раньше. Позволительно предположить (строго доказать не могу), что стимулом (или одним из стимулов) его появления была первая годовщина смерти Ахматовой. Написанный в марте 1979-го очерк о Пастернаке Самойлов назовет «Предпоследний гений» [ПЗ: 482–487]. Смежившие очи гении – Пастернак и Ахматова.

Через полстолетия с лишком по кончине Ахматовой крупнейший исследователь русской поэзии XX века (на сегодня – точно, может – и не только на сегодня) поставит на титуле второго издания своей сверхнасыщенной монографии страшное словосочетание – «Последний поэт» [Тименчик, 2014]. Страшное не столько из-за легко считываемой отсылки к одноименному стихотворению 1835 года [Баратынский: 179–181], сколько в силу тщательно скрытого, но угадываемого ответа на прорицание (чаяние? догадку? грезу?) года 1836-го:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Разумеется. Но когда последний уйдет, исчезнет не только слава, но и душа. Восторжествует тление. Сиречь тленность, незавершенной (оборвавшейся после начальных строк) одой на которую завершил свое земное бытие один старик, неза-

долго до того благословивший на весьма рискованное дело одного юнца:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

[Державин, 2002: 542].

И некому будет «...в час вечера мечтать / Над тихой юноши могилой» [Жуковский: I, 78]. (Поэты, даже если доживают до весьма преклонных лет, умирают молодыми.) Никто не пробудит потомков ото сна (отсутствия поэзии), не шепнет «вслух страннику, вдали как тихий гром: / “Здесь Бога жил певец – Фелицы”» [Державин, 2002: 390]. «Никто! Но сложится певцу / Канон намерднишним Зоилом, / Уже кадящим мертвецу, / Чтобы живых задеть кадилом» [Баратынский: 201].

Стоп! Не все ли равно, кому нынче кадят, а кого задевают кадилом? Какие еще живые (включая тех, что некогда почитали грядущую свою смерть «мнимой» и намеревались в лебедином обличье вознестись над миром), если «вот и всё»? И велико ли утешение в том, что и прежде слагались «последние элегии» да «последние песни»? Или в том, что задолго до того, как смежили очи гении, сказано было:

Поверь: для них смешон твой плач и твой укор
С своим напевом заучённым,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным...

[Лермонтов: II, 33]

и

Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забиться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда.

[Блок: III, 88]

Скажут мне, да и говорили уже сотни раз, что классики писали не о том. Что одно дело – противостояние поэта и толпы, другое – отсутствие воздуха, третье – невозможность писать стихи после Колымы и Освенцима (после опричнины, Столетней войны, разрушения Рима, пожара Трои, надо полагать, было можно?), четвертое – личные кризисы сочинителей (с разными исходами). Что случалось еще пятое, десятое, тридцать третье... А мы, дескать, обретаемся в совершенно особой ситуации, когда поэзия как таковая обречена небытию. И тут уж ничего не попишешь. Кроме того, что было совершенно справедливо отмечено стихотворцем и членом СП СССР Самойловым Д. С. еще в 1967 году. И не им одним, но и многими его современниками. Иные из кото-

рых не отказались, впрочем, «от шуток с этой подоплекой». Не избыли странную привычку складывать из букв слова, из слов – строчки, из строчек – строфы и т. д. Иногда весьма успешно – вплоть до Нобелевской премии. Только что из того? «Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. / Зане не знаю я, в какую землю лягу. / Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу» [Бродский: II, 43].

Забегая вперед (в «Предуведомление четвертое»), рассказу, как мы в каком-то семьдесят баснословном году обсуждали... нет, еще не «Пятую годовщину» (она примерно тогда, в 1977-м, была написана, но напечатана лишь в 1983-м), а «Двадцать сонетов к Марии Стюарт». Мы – тогдашние студенты, преимущественно филфака МГУ. Юный читатель, если ты снизойдешь до этой книги, пожалуйста, не подумай, что обсуждение проходило на университетском семинаре. И что работали мы с № 11 некогда славного журнала «Russian Literature Triquarterly» за 1975 год. Нет, дело происходило в квартире докладчика (вернее, его родителей), и года на два позже, чем сонеты увидели свет. Потому как электрического интернета еще в помине не было, а тамиздат превращался в самиздат с неодинаковой скоростью (мгновенно – далеко не всегда, даже в Москве). Ничего, радовались мы и перепечаткам с перепечаток. Так что текстология была та еще. К примеру, в наших экземплярах, отнюдь не по авторской воле, в одном из сонетов не хватало какой-то строки, из чего был сделан весьма красивый вывод, хорошо ра-

ботающий на концепцию докладчика. Концепция же (сильно огрубляю!) сводилась к тому, что великий поэт (никто из присутствующих в этом не сомневался!) – чистой воды графоман, ясно осознающий бессмысленность виршеплетства, стыдящийся этого занятия, но получающий огромное удовольствие от самого процесса письма, – потому и строчку, увлекшись, потерял. Отсюда финал:

Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.

[Бродский: I, 354]

Примерно так, по докладчику, дело обстояло и всегда, но Бродский мысль о том, что стихи писать стыдно, додумал до конца. Тут я принялся размахивать мечом картонным (еще темпераментнее и комичнее, чем сейчас), для начала заявив, что Пушкину писать стихи было не стыдно. На что мгновенно последовало блистательное – как всегда! – возражение одного из присутствующих: «Пушкин вообще был известный бесстыдник!» Приняв этот тезис и жестко противопоставив Пушкина иным-прочим, докладчик и его союзник принялись перечислять: Лермонтову было чудовищно стыдно, Тютчеву – того больше, про Некрасова всякому понятно... Поди возрази! Мигом обернешься подельником творца задания в школьном учебнике: «Объясните, почему Некрасов был не прав, когда писал “Мне борьба мешала быть по-

этом, / Песни мне мешали быть борцом”» (педагогический шедевр цитирую по памяти). Не помню, произнес ли тогда кто-то:

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.

[Пастернак: I, 252]

Очень бы пришлось. Как и многое другое. Теперь понимаю, что мои друзья во многом были правы. Но что делать, если призывавший к молчанию, балансировавший в стихах на грани внутренней речи (а «к случаям» выдававший дубовую казенщину), прячущий, теряющий, рвущий измаранные листки, не заботившийся о тиснении того, что все-таки записал, случайно продиктовавший, раздеваясь по возвращении с бала: «Слезы людские, о слезы людские...» – если этот светский говорун-шармер и геополитический визионер, бесспорно стыдившийся смолodu владевшей им «хвори», написал – и не выбросил – еще и такое:

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам –
Небесная к земным сынам,

С лазурной ясностью во взоре –
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

[Тютчев: 158]

«Она» – Поэзия. Поименованная лишь в заглавье. Между прочим, не частом. Есть у автора «Высокой болезни» («Поэзия, я буду клясться...») [Пастернак: I, 205]. Больше не упоминается. У Самойлова – нет, хотя есть «Поэты (1956–1957)», «Поэт» (1974), «Поэтика» (1986) [463, 222, 381].

Что же до сравнений вдохновенья с «язвой», «тяжелым бредом» и «отравленным напитком» [Лермонтов: II, 32], то и «известный бесстыдник» намеревался представить публике своего «двойника» следующим образом: «...он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем. <...> Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже пустых. <...> Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. <...> Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье» [Пушкин: VI, 244–245; курсив Пушкина]. Как и все, кого судьба обрекла «для звуков жизни не ща-

дить».

Даже в пору, когда не без оснований кажется, что все кончилось. Самойловские слова «померкли небеса» ясно отсылают к евангельским свидетельствам о состоянии мира при крестной муке Спасителя: «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце...» (Лк 23:44. Ср.: Мф 27:45; Мк 15:33). Для верующих за смертью на кресте следует победа над смертью, Воскресение Христово. Но как быть, если в Воскресение не веруешь? Самойловское «Нет у их. И все разрешено» сдвинуто воспроизводит синтезированное суждение о бытии Ивана Карамазова, прямо в романе не звучащее, но вошедшее в общекультурный обиход: *если Бога нет, то все дозволено*. Правило обратимо: если все дозволено (разрешено), то Бога (поэзии) нет. Но поэзия – бессмертная русская – в самойловском восьмистишье есть. Нарочито прозаичное, почти канцелярское, «опустелое помещение» заставляет вспомнить два поминовения *поэтов* – великого Байрона, после смерти которого «мир опустел» (перспектива бесконечно расширяется), и смешного Ленского, о простреленном сердце которого сказано: «Теперь, как в доме опустелом, / Всё в нем и тихо, и темно; / Замолкло навсегда оно» (образ интимизируется) [Пушкин: II, 181; V, 115]. Да, наши вирши стоят предсмертных стихов, что писались «темно и вяло», – эту формулу Самойлов цитировал и варьировал не раз, но Ленский, как бы ни сложилась его судьба, минуй юношу пуля Онегина,

умер *поэтом*. Остался поэтом. Восьмистишье не нагружает нас окончательным выводом, но живет битвой клубящихся в нем поэтических смыслов.

Почему меж выдохом стихов о померкших небесах и их публикацией прошло столько лет? Конечно, по мнению идеологических жандармов, советские поэты вовсе не «тянут слово залежалое», но движутся стройными рядами от вершины к вершине, от гимна колхозу имени такого-то к оде заводу имени сякого-то, от поэмы о прорытом в пустыне канале к эпосе о строительстве ГЭС. Тиражами и премиями заслуженно награждаются истинно достойные – те, кто пишет бодро и красочно. Так что нечего клеветать на верных помощников коммунистической партии. Но, с другой-то стороны, так ли уж с наших «автоматчиков» убудет, если какой-то там лирик добавит в свой личный скулеж толику критики, не затрагивая проверенных товарищей персонально? Разве не должны советские поэты равняться на Маяковского? Разве мы хотим предаваться самоуспокоенности? Цензура цензурой, отдел пропаганды ЦК свое дело знал, но не была пьеса Самойлова абсолютно «непроходимой». И вполне допустимо предположить, что до какого-то момента поэт не считал нужным (возможным) обнародовать стихотворение, которое могло показаться совершенно беспросветным, ударить по остаткам надежды. Но в итоге решился. Оставив в столе многое иное. Например, восьмистишье, датированное 14 августа 1970-го, то есть родившееся во время несо-

мненного творческого подъема. Коему потаенная миниатюра и посвящена:

Теперь уже знаю:
Стихи потекут.
Их целую стаю
Моей нарекут.

Сего не преложишь,
Как сказано встарь.
Пиши, пока можешь,
Несчастливая тварь!

[503]

Или написанное два года спустя – в ту же пору несомненных удач и роста признания:

Меня Анна Андревна Ахматова
За пристрастие к сюжетам корила.
Избегать бы сюжета проклятого
И писать – как она говорила.

А я целую кучу сюжетов
Навалял. И пристрастен к сюжетам.
О, какое быть счастье поэтом!
Никогда не пробиться в поэты.

[505]

Ох, не о сюжетах тут на самом деле речь идет. О недостижимости идеала, а причины тому найдутся – не одни, так другие. В тяжелых, коли не сказать – отчаянных, стихах идет тот же скрытый бой смыслов, что в досягнувшем печати – после томительной паузы – прощании с почившими гениями. Тоска по счастью далеко не счастье, но ее присутствие – память об идеале – не дает тленью одолеть душу вполне. Но и когда надежда потесняет уныние, боль сомнений не иставляет вовсе. Так еще в одном восьмистишье (1978), напечатанном по советским меркам сравнительно быстро, привычно почитаемом весьма оптимистичным:

Пусть нас увидят без возни,
Без козней, розни и надсады.
Тогда и скажется: «Они
Из поздней пушкинской плеяды».
Я нас возвысить не хочу.
Мы – послушники ясновидца...
Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.

[254]

Свеча-то, между прочим, не наша, а «смежившего очи», затравленного кое-кем из нас – в частности, за эту самую «свечу» [Пастернак: IV, 533–534]. «Наши» – «козни, рознь и надсада». Потомки их, может, и не заметят, а ты, как ни отворачивайся, видишь каждодневно. И задаешься прежними

вопросами в новой огласовке. Длится ли в России Пушкин? Оправдывает Пушкин (вкупе с другими почившими поэтами) наше бытие, дают они нам силу сказать свое? Или мы потихоньку изничтожаем то, что некогда звалось и было великой русской поэзией?

Над этой проклятой дилеммой Самойлов бился на протяжении всей своей сознательной – творческой – жизни. Да, в конкретных исторических обстоятельствах – в России XX века. Но вопрос о том, как быть «поэтом после поэзии» (после «смеживших очи гениев») вмещался им в другой: как вообще быть поэтом? Вопрос же этот непреложно приводил к новым. Кто есть поэт? В чем его назначение? Как поэтом становишься (или не становишься)? Каковы отношения поэта с миром, отчизной, социумом, властью, простым человеком, просвещенным гражданином? С прошлым, современностью, грядущим? С возлюбленными, друзьями, собратями по цеху – сегодняшними и обретающимися в элизиуме? С жизнью и смертью, с Богом.

О том, как Самойлов пытался ответить на перечисленные и сходные с ними вопросы, написана эта книга. По моему разумению, лишь в их свете можно увидеть главное в лице и судьбе поэта, точнее понять и те его сочинения, в которых вроде бы говорится о другом.

Предуведомление второе. О герое

Но если вопросы о том, кто есть поэт, каково его назначение и т. п., суть вопросы общие для всех поэтов, если о невозможности писать стихи после Пастернака и Ахматовой и о то ли уже наступившем, то ли стремительно близящемся конце российской словесности размышлял во второй половине XX столетия не один Самойлов, то почему разговор вести нужно именно о нем? Тут всего легче отшутиться, почти не покрывив душой. Разве что самую малость. Дескать, каждый волен писать о ком хочет. Коли оставаться в поле поэзии второй половины XX века, то хоть о Бродском (кажется, уже изрядная библиотека составила), хоть о Тарковском, Вознесенском или Айги (тоже вниманием не обойдены), хоть о Слуцком, Глазкове, Ахмадулиной, Чухонцеве (кое-что разумное найти можно), хоть о Липкине, Корнилове, Соколове, Плисецком, Губанове и много о ком еще, чьи стихи и судьбы должного внимания, на мой взгляд, до сих пор не удостоились.

Если же говорить серьезно, то и недоуменный вопрос и подразумеваемый ответ раздваиваются. Почему о Самойлове пишу я? Об этом кое-что будет сказано в «Предуведомлении четвертом». Почему я уверен, что о Самойлове писать нужно? Наверное, потому, что считаю на редкость точным название посвященного ему мемуарного очерка «В нем каждый вершок был поэт» [Баевский, 2007: 237–289]. Впрочем,

автор первой монографии о Самойлове [Баевский, 1986] не менее пристрастен, чем сочинитель книги, которую вы читаете.

Жизнь, судьба, личность Самойлова предстают в его стихах объемнее и сложнее, чем в «Памятных записках», хотя эта, увы, не вполне достроенная книга бесспорно входит в самый узкий круг лучших русских писательских мемуаров. Сходным образом история России, «большая» и та, в которой выпало жить поэту, – и история русской словесности, ее бытования и персонального состава в 1940–1980 годах в стиховых версиях богаче, сложнее, многоплановей, чем в блестящих, как правило, эссе, возникавших на полях «Памятных записок» и закономерно включаемых в их издания, в фундированных статьях о литературе, старой и новой, в многочисленных искрометных «поденных записях», где поэт отходил от протокольной фиксации фактов. Вся многообразная и, коли вдуматься, изматывающая «производственная деятельность» Самойлова – переводчика, драматурга, сочинителя детских стихов и сказок, критика, автора и режиссера литературных композиций, мистификатора и мастера «шуточной словесности», читателя-наставника младших – непредставима без ее ядра, без свободной, почти всегда разом игровой и обращенной к «последним вопросам» поэзии.

Надо себя сжечь
И превратиться в речь.

Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.

[256]

Так он себя день за днем и сжигал. В каторжном труде за письменным столом и в возлияниях за столами пиршественными. В одиноких мучительных раздумьях и в многоразумных беседах обо всем на свете с непрестанно появляющимися – хоть в Опалихе, хоть в Москве, хоть в далеком Пярну – гостями. В ноябре 1987-го, посетовав на «груз годов», он сказал давнему младшему другу: «Я ведь как всегда жил? Пил вино и баб е....» [Харитонов: 408]. Словно не было ни войны, ни жути последнего сталинского семилетия, ни трудного и медленного обретения позиции в литературе, ни счастливой любви, ни семьи, ни переполненных залов на поэтических вечерах, ни выдвижения на Государственную премию – сильного знака государственного же признания... (Премию он получил ровно через год. 14 ноября 1988-го в дневнике появится запись: «Нет радости. Поздно». А 23 декабря там же описана церемония, на которой начальник писательского союза Г. М. Марков охарактеризовал свершения лауреата подобающим сановному бюрократу слогом: «Стихи, не побоюсь сказать, классические». Поэт дал ремарку: «Осмелел!» [II, 254, 256].) Ничего не было – ни страшного, ни победного, ни доброго, ни дурного, только коньяк с водкой да бабы. Вино в приведенной выше реплике, разумеется,

не сравнительно легкий алкогольный напиток из винограда, не рислинг или каберне, а фольклорное «зелено вино», «она, родимая». Жесткое осуждение словно бы лишённой смысла прожитой жизни глубоко иронично. Оно строится на сдвинутой и недоговоренной цитате из поэта, на поверхностный взгляд Самойлову чуждого, упирающего на естественность, надрывно эмоционального, у которого самые истовые показания неизменно смешаны с любованием собой, таким грешным и таким правым. «Слишком я любил на этом свете / Все, что душу облекает в плоть <...> Счастлив тем, что целовал я женщин, / Мял цветы, валялся на траве...» [Есенин: I, 201, 202]. О пьянстве здесь не говорится, но тема эта в есенинском контексте возникает сама собой. Бабы в сохранённой мемуаристом сентенции замещают женщин не потому, что Самойлов «грубее» Есенина, а потому, что в кабацкой поэтике женщины и есть бабы, коли не аттестуются того хлеще. Самойлов убирает упоминания о счастье, но *плотскость* его «автобиографии в нескольких словах» на это самое былое счастье указывает.

Было оно когда-то. А теперь ничего нет. В том числе того, для чего были потребны пиры, загулы, романы, – стихов. Признанных – даже на высшем уровне – классическими и самых сокровенных, все ещё потаённых. Ясно, что выплеснута собеседнику (и нам) усмешливая *неправда*, а жизнь поэта была иной. Да, но в глубине самойловской *неправды* (демонстрация есенинской маски) скрыто зернышко прав-

ды высшей, слитой с поэзией. Удобно вам видеть меня таким – пожалуйста. Потому как фактура здешних потерь и успехов, бед и радостей, грехов и благородных поступков, в общем-то, значения не имеет. Не для того поэты живут, не тем измеряются. Чем объяснять, проще отделаться брутальной шуткой – свести все сгоревшее бытие к плотским удовольствиям. А стихи поминать ни к чему. Останутся – не зря сжигался (наслаждался жизнью), канут в Лету – сам виноват.

Давид Самойлович Кауфман (будущий поэт Давид Самойлов) родился 1 июня 1920 года в Москве в ассимилированной еврейской семье. Его родителей, кажется, можно назвать интеллигентами в первом поколении. Писать стихи и вести дневник начал еще школьником. В 1938 году поступил на филологический факультет Московского института философии, литературы и истории. Самойлов «любил, размышлял, воевал. / Кое-где побывал, кое-что повидал, / Иногда и счастливым бывал» [107]. Первую книгу – «Ближние страны» – выпустил в 38 лет, перекрыв своей жизнью вне литературы полные жизни не только Лермонтова, но и Пушкина. При жизни Самойлова свет увидели еще восемь его поэтических книг. Впрочем, восьмая – «Беатриче» – полностью вошла в девятую – «Горсть»; впрочем же, вышедшая посмертно книга «Снегопад: Московские стихи» была сложена самим поэтом. Так что с исчислением есть проблемы. Плюс четыре книжицы для детей. Плюс семь разного рода «изборников» – объем их гуляет от 31 страницы малого

формата («Дай выстрадать стихотворенье...», 1987) до почти 900 страниц (двухтомник «Избранные произведения»). Перевел с разных языков совершенно невообразимое количество стихотворных текстов, диапазон авторов – от Шекспира до... скажем, албанца В. Гиечи и словенца М. Ярца. Написал «Книгу о русской рифме» (1973; 3-е издание – 2005). Строившаяся больше двух десятилетий книга воспоминаний и размышлений «Памятные записки» не обрела окончательной редакции, к читателю пришла после кончины автора. В 1976 году поэт переехал из Москвы в стоящий на берегу залива эстонский городок Пярну.

Умер он в одночасье 23 февраля 1990 года. На проходившем в Таллине вечере, посвященном столетию Пастернака, – кажется, вновь, как в юности, ставшего для Самойлова самым важным (после Пушкина!) поэтом-предшественником. Напомним, что день рождения Пастернака – 29 января (10 февраля по старому стилю) – приходится на день кончины Пушкина. В четвертую годовщину кончины Бориса Слуцкого, друга-соперника, бесспорно самого значимого для Самойлова поэта-современника. В День Красной Армии, не отделимой от судьбы солдата, прошедшего Великую Отечественную войну. Давнее (1962) стихотворение «Дом-музей» завершается отделенными от предшествующего текста строками: «Смерть поэта – последний раздел. / Не толпитесь перед гардеробом» [118].

12 декабря 1989-го датирован последний из занесенных

на бумагу стиховой текст. Явно недописанный:

Писем напишу пяток,
Лягу и умру.
Знай сверчок свой шесток –
Хватит жить в миру.
Но умру не насовсем
И не навсегда.

[565]

Далее еще девять строчек – о том, что поэт увидит (или уже тогда видел).

В томе «Стихотворения», вышедшем в серии «Новая библиотека поэта» (2006), опубликовано 900 опусов. В книге «Поэмы» (2005) – 21. Поэтическое наследие Самойлова издано не полностью.

Предуведомление третье. О жанре и методологии

Из сказанного выше следует, что Самойлова затруднительно встроить в ряд заглавных персонажей серии «ЖЗЛ». Можно, разумеется, надергать из мемуаров энное количество пикантных анекдотов, дабы получить в итоге историю о пьянках, гулянках, «романах и адюльтерах» (шутливый вопрос о которых постоянно задавал Самойлову Слуцкий; см. [ПЗ: 229]), облагороженную цитатами из «Памятных записок» и «Поденных записей», информацией о прижизненных публикациях (журнальных и книжных) и выписками из тогдашних рецензий. Или, напротив, представить развернутый послужной (библиографический) список, дозированно оживленный умеренно рискованными байками и самойловскими остротами. В обоих вариантах некоторое количество печатных знаков придется использовать для воссоздания исторического контекста. На детство-отрочество-юность и войну – побольше, на оттепель – поменьше, на всю оставшуюся жизнь – минимально.

На мой взгляд, это общая проблема повествований о «замечательных людях», главная часть жизни которых пришлось на вторую половину XX века. Тут в равной мере справедливы афористичные речения двух любимых Самойловым поэтов:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

[Толстой А. К.: 282]

И

Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

[Пастернак: I, 264]

Граф Алексей Константинович имел в виду аттестации государей, но для высказываний о художниках его замечание не менее справедливо. Может, и более. Дело не только в том, что запросто, сам того не желая, можешь больно задеть здравствующих родных и близких недавно ушедшего. Вблизи предание слишком часто оборачивается сплетней, деформирующей личность большого человека и потакающей худшему в нас. Со временем же и сплетня, если не совсем пакостна, может стать преданием. Универсальна и странность, зорко примеченная Пастернаком. Для того чтобы вникнуть в неповторимый смысл той или иной эпохи, должно прежде

уразуметь ее отделенность от нас, ее непонятность. Пытаясь осмыслить время Пушкина (да и раннего Пастернака), мы, как правило, хотя бы интуитивно ощущаем, что «там» все было иначе, недавнее же прошлое оказывается инфицированным нашим сегодняшним опытом. Сами по себе анекдоты и факты (пусть действительно новые, корректно извлеченные из надежных источников) тумана не рассеивают. Потому биографии наших недавних современников (а появилось их в последние годы совсем не мало!) редко оказываются удачными.

В случае Самойлова проблема встает особенно остро, ибо его внутренняя жизнь была несоизмеримо богаче внешней. О последней он в «Памятных записках» рассказал то, что счел нужным предъявить публике, – несомненно, очень многое сознательно оставив за кадром. И – что не менее важно – адресуя воспоминания-размышления прежде всего читателям его стихов. Без самойловского комментария к его поэтическому корпусу (не к конкретным стихотворениям – о них в «Памятных записках» говорится немного и, как правило, завуалированно!) обойтись нельзя. Образование, формальный статус историка литературы и какой-никакой опыт не позволяют сказать: и этого достаточно. Но, признаюсь, соблазн велик.

Тут вспоминается микродискуссия, приключившаяся на давней уже славной ученой посиделке. Незаурядный филолог сказал: «Мы изучаем жизнь писателя, чтобы лучше по-

нять его сочинения». Не менее достойный коллега возразил: «Нет, мы читаем тексты, дабы лучше понять человека. Что ж поделаться, если он зачем-то стихи (прозу) писал». (Передаю диалог, разумеется, не точно по форме, но за смыслы ручаюсь.) Признавая резонность второй позиции – в конце концов, душа каждого из нас важнее любого художества, – не могу и не хочу сойти с первой. «Война и мир» и «Анна Каренина» для меня важнее, чем личность и путь Толстого. А стихи Самойлова – чем даже внутренняя его жизнь. Не говоря о внешней, той, что интересует биографов и читателей биографий.

Потому из многочисленных недавних повествований о писателях второй половины XX века лучшим, да и без сравнений – замечательным, мне кажется снабженное подзаголовком «Опыт литературной биографии» [Лосев]. (Замечу: к герою ее отношусь прохладно.) Буду рад, если когда-нибудь смогу написать о Самойлове в этом жанре. Боюсь, не получится. Сейчас бы не получилось точно.

Потому вместо чаемого, но недостижимого «опыта литературной биографии» читателю предлагается «опыт прочтения пяти стихотворений», связанных общей темой. Правда, биографические линии в книге все же прочерчены. Множественное число в предыдущей фразе не плод авторской и корректорской небрежности. Во-первых, главы, посвященные пяти стихотворениям, расположены в порядке появления их объектов: от 1956 года к 1981-му. Во-вторых, эта по-

следовательность соответствует пути, что проходит каждый из нас – от детства к старости. Если, конечно, жизнь человека не обрывается до законного срока какой-то черной силой, имеющей разные обличья: неизлечимый недуг, война – с внешним врагом или гражданская, государственный террор, уголовщина... Только в нашем случае речь пойдет о детстве (и выходе из него), юности, зрелости и старости *поэта*. Прежде всего, конечно, поэта Самойлова, но – в известной мере – и поэта вообще.

Собирался (и даже в заголовке обещал) предупредить о методологии исследования. Вернее – об ее отсутствии. Планировался громокипящий антиметодологический монолог. Потому как не понимаю я, что такое методология. Понимал только в аспирантуре, когда мне четко объяснили, что: а) в диссертации должны быть цитаты из основоположников марксизма-ленинизма (в автореферате можно обойтись – на дворе стояли либеральные годы застоя); б) в библиографии труды людоедов должны *предшествовать* источникам, потому как они – наша *методология*. Вне всякого сомнения, сентенции, извлеченные из известных чьих статей «К характеристике экономического романтизма» и «Лев Толстой как зеркало русской революции», придали диссертации (о прозе графа В. А. Соллогуба) должную методологичность. С тех пор, равно как и прежде, во студенчестве, руководствовался я исключительно методологией косоногого левши: «Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас

глаз так пристрелявши». Потому как, что ружья кирпичом чистить не след, и без методологии (мелкоскопа) догадаться можно.

Предуведомление четвертое.

Об истории вопроса

О Самойлове писали довольно много. Понятно, что при жизни поэта — чем дальше, тем больше. Неплохо бы выяснить, как количественно соотносятся корпуса откликов на сочинения значимых поэтов второй половины 1950–1980-х годов. Но пока эта задача не решена, приходится довольствоваться косвенными данными. В тщательно составленном библиографическом справочнике «Литература о жизни и творчестве Д. С. Самойлова» занимает чуть меньше тридцати страниц [Поэты: 222–252]. На стихи Самойлова так или иначе откликнулись почти все приметные критики его времени — от немногим старших поэта (например, Л. З. Копелев) до немногим младших автора этих строк (например, А. Н. Архангельский). Исключения есть, но вспоминаются с трудом. И с удивлением. О поэтике Самойлова писали квалифицированные стиховеды и специалисты по лингвостилистике. Его не обходили вниманием собратья по цеху, высказываясь как публично — в газетах и журналах, так и приватно (см.: [Письма литераторов]).

Не хочу выстраивать иерархию, хвалить за проницательность, порицать за пустословие с благими намерениями (увы, такого было больше чем достаточно), вступать в полемику (диалог с коллегами минимизирован и в основной ча-

сти книги). Лучший анализ поэзии (не только поэтики!) Самойлова, на мой взгляд, был сделан им самим в автопародии. Поскольку этот шедевр после первой публикации на шестнадцатой, юмористической, полосе «Литературной газеты» от 4 января 1978 года был напечатан лишь однажды [244–245], долгом своим почитаю привести его полностью. Благо, не велик. Надеюсь, издатели простят мне этот транжирский ход. И вовсе без комментариев, ибо однажды их уже выдал [Немзер, 2011].

Собачий вальс (Из поэмы «Филей»)

Не пой, красавица...
(Мнение Пушкина)

Собака пела. (Та, что у попа
Была собакой. Но не в этом дело.)
Слегка смеркалось. И собака пела.
Возможно, потому, что мясо съела.
И поп о ней подумал:
«Не глупа!
Конечно, дрянь! Но голос – алмаз.
Да я и сам, когда б не воспитанье,
Разбоем добывал бы пропитанье.
И даже в суке надо чтить талант...»
А сам в тот день хотел ее убить.

И даже нож готовил, может быть.
Но это пенье вороватой суки,
Ее бельканто, горловые звуки
Попа от злодеянья отвлекли...
Кругом был виден горизонт земли.
Стоял апрель. Из кухни пахло мясом.
И поп стал подпевать собаке басом.

[244–245]

Почти столь же удачно анализируется поэтическое мышление Самойлова в пародии его друга Юрия Левитанского «Арфа, Марфа и заяц» (1980). Здесь ограничусь цитированием зачина и коды:

В Опалихе,
возле Плаццо де Пеццо,
в котельной жил одинокий заяц,
который,
как это умеют зайцы,
долгими зимними вечерами
очень любил поиграть на арфе.

<...>

А на чердаке распевала Марфа,
в манере, присущей одной лишь Марфе,
и я, задохнувшись, тогда подумал:
ах, арфа,
ах, Марфа,

ах, боже мой!

[Левитанский: 496, 497]

Но того счастливее трансформация безусловно пленительной строки Самойлова, совершенная Левитанским с помощью изменения одного звука (и соответственно – буквы) и замены буквы строчной на прописную: *А эту Зину звали Анной...* Отсылку тут давать неловко – комментаторы «Стихотворений» опирались на устную традицию. Можно только повторить, без изменений, но с уточнением, следующую за преобразованной строку Самойлова: «Она (здесь: шутка Левитанского. – А. Н.) была прекрасней всех» [149].

Представляя историю вопроса, нельзя вовсе обминуть еще один выразительный факт – лютую ненависть, которую Самойлов вызывал (при жизни и по смерти) и, похоже, вызывает сейчас у ряда литераторов, почему-то считающихся почвенниками. Убежден, что Давид Самойлович Самойлов (Кауфман) был связан с историей и судьбой России – не говоря уж о русском языке – неизмеримо крепче, чем его ненавистники.

Скрытого намека на великого писателя, уделившего Самойлову место в своей «Литературной коллекции» [Солженицын, 2003], искать здесь не следует. Его нет и быть не может. Хотя Солженицын, на мой взгляд, не всегда верно *слышит* Самойлова, который *слышал* Солженицына ничуть не лучше, если не хуже, пишет он о большом поэте (само об-

ращение к наследию которого весьма красноречиво – коллекция составлялась сверхразборчиво), печалась о его промахах (реальных или мнимых – история иная) и искренне радуясь тому, что почитает удавшимся. Расхождения истинных художников могут (должны) удручать, но, сколь бы печальны такие сюжеты ни были, они не могут (не должны!) не то что отождествляться – даже сближаться с конфликтом, запечатленным в бессмертной басне «Слон и Моська». То, что лай в нашем случае не сводился к *автопрезентации* (как у персонажа дедушки Крылова), но подразумевал проведение эффективных мероприятий по спасению зевак от ненужного зрелища и дискредитации слона на веки вечные, лишь расширяет пропасть, отделяющую «слоноборцев» от великого писателя, в «Очерках литературной жизни» напомнившего о мудрости пословицы «Волка на собак в помощь не зови» [Солженицын: XXVIII, 251].

Марать страницы выписками из оголтелых и пошлых пасквилей не считаю возможным. Должно заметить, что, так сказать, с еврейской стороны Самойлову предъявлялись не менее злобные и безосновательные претензии. Но укоры автору стихотворения «Еврейское неистребимо семя...» за якобы отступничество от своего народа забряцали уже после его кончины. На них Самойлов ответить не мог. А ревнителям дико понимаемого русского духа ответил – стихотворением «Памфлет» (1988), посвященным Булату Окуджаве. Недоброжелатели у автора и адресата были общие, но

ни это обстоятельство, ни присутствие в «Памфлете» поэта, играющего на гитаре (Самойлов если играл, то, по детской памяти, на фортепиано), не должны вводить в заблуждение. «Памфлет» на сочинителей памфлета (прототипы обозначены предельно ясно) мотивирует предъявление автопортрета. Бесшабашный поэт наделен фамилией, являющейся русским вариантом (переводом) паспортной фамилии автора – Кауфман. Самойлов объяснял появление у него псевдонима (вовсе не скрывающего национальности!) тем, что купец – антагонист поэта, а потому купеческое прозвание будет мешать стихам. Оказалось, что тут беды нет. Купцов может быть поэтом. Как и еврей.

Публицист Сыгоняев,
Критикесса Слепцова
Написали памфлет
Про поэта Купцова.

Дескать, можно и нужно
По многим резонам
Стихотворца сего
Считать фармазоном.

Фармазон, фармазонище,
Страхолюдина злая,
Нечто обло, озорно,
Стозевно и лайй.

Так пугали друг друга
И страх нагнетали...
А Купцов в это время
Играл на гитаре.

<...>

Он играл про влюбленных,
Прильнувших друг к другу,
Про коней вороных
И про белую выюгу,

И про мальвы в саду
На ночном полустанке...
А они в это время
Правили гранки.

И с устатку вином
Прочищали гортани...
А Купцов все играл
И играл на гитаре.

[408–409]

Сюжет «Самойлов в прижизненной критике (и читательском восприятии)», безусловно, достоин специального исследования. Однако один вывод можно сделать и без этой работы: лучшим *самойлововедом* был и остается Давид Самойлов.

По смерти Самойлова изучение его жизни и творчества развивалось довольно энергично. Много споспешествовала тому масштабная публикаторская работа наследников – вдовы поэта Г. И. Медведевой и его старшего сына А. Д. Давыдова. Основательная библиография [Поэты: 170–256] требует пополнения исследованиями и материалами, появившимися в конце века минувшего и в первых десятилетиях века нынешнего. Некоторое представление о новейшей *самойловiane* можно получить, обратившись к свежим диссертациям, об одной из которых речь пойдет ниже.

В работе последних лет по освоению наследия поэта активное участие принимал и я. Отправным пунктом на этом пути стало для меня послесловие к представительному своду стихотворений и поэм, выпущенному, как позже и многие иные значимые книги Самойлова, издательством «Время» (см.: [Немзер, 2000]). О предшествующей тому внутренней подготовке – многолетнем увлеченном чтении-перечитывании Самойлова для себя и досадных фальстартах – я уже писал (см.: [Немзер, 2013в: 11–12]). Повторяться известно, но немного дополнить этот интимный сюжет считаю нужным.

Самойлова я видел на телеэкране и его вечерах. Далеко не всех, на которые мог бы прийти. Познакомиться с ним у меня в мыслях не было. (Ровно так же я не мечтал быть представленным кому-либо еще из глубоко почитаемых писателей-современников.) Что бы я сказал поэту? Что его стихи –

часть моей жизни? Так ему, наверно, что-то подобное каждый день сообщают – устно и письменно. Надоели небось поклонники хуже горькой редьки. А тут еще один... Спросил бы, правильно ли понимаю ту или иную строчку? Так своей головой думать нужно, а не заставлять большого человека тратить драгоценное время на вежливые кивки и снисходительные улыбки. Обхожусь я без личного общения с Жуковским, Тютчевым, Некрасовым, Пастернаком, Мандельштамом... Стало быть, проживу, не потревожив Самойлова. Мне нравилось ощущать себя персонажем «Последних канникул», пусть эпизодическим, но никак не случайным.

Читатель мой – сурок.

Он писем мне не пишет!..

Но, впрочем, пару строк,

В которых правду слышит,

Он знает назубок...

[П: 65]

Я знал почти назубок гораздо больше строк, в которых слышал правду. Знал, что стихи всегда при мне, в любой свободный момент могу взять с полки книжку. И что мне есть с кем потолковать о Самойлове.

Это важно. Самойлов был *нашим* поэтом для той большой компании, в которой прошли мои университетские и первые послеуниверситетские годы. Конечно, кто-то любил Самойлова больше, кто-то – меньше. Мои, и далеко не только мои,

восторги у кого-то вызывали усмешку. Но понимающе-дружескую. Мы радовались публикациям в журналах и «Днях поэзии». Когда выходили книжки, старались их купить. (Получалось.) И главное – мы о Самойлове разговаривали. Много. Больше, как сейчас помнится, говорили только о Лотмане. (Тогда, в поздние семидесятые, ранние восьмидесятые, мы если не были, то, по крайней мере, мнили себя филологами. Кто-то таковым и стал.) Примерно вровень (как сочтешь?) – о Бродском, Чухонцеве, Солженицыне, Трифонове, Битове, Окуджаве (как прозаике), Юрии Давыдове, Эйдельмане. Не знаю, все ли друзья моей молодости сохранили любовь к Самойлову. Повторю: и в те баснословные года было чувство это в нашей компании «разногоградусным». Год от года все яснее понимаю, как сильно бывшие мы разошлись. Но если каким-то волшебным образом выяснится, что Самойлов остался *нашим* поэтом, не удивлюсь.

Я не могу отделить тех давних разговоров о Самойлове от позднейших. В том числе от тех, что были спровоцированы моими докладами на всевозможных конференциях, статьями (пять из которых, существенно расширившись и изменившись, составили эту книгу), самоейловским томом в «Новой библиотеке поэта», комментарии к которому писали В. И. Тумаркин и я, другими изданиями, к которым я приложил руку, лекциями и семинарами на программе «Филология» НИУ «Высшая школа экономики»...

Не без самодовольства назову здесь три посвященных Са-

мойлову сочинения, что появились в канун столетия поэта, но, к сожалению, едва ли станут известны кому-либо, кроме особо дотошных специалистов. Меж тем эти работы молодых исследователей, по-моему, дорогого стоят. 18 октября 2019 года в НИУ «Высшая школа экономики» была защищена диссертация на тему «Личность, творчество и учение Л. Н. Толстого в поэзии и эссеистике Давида Самойлова» [Тупова, 2019б]. В июне, то есть в самые «самойловские» дни, в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ была защищена бакалаврская выпускная квалификационная работа Е. А. Бурденевой «Б. Л. Пастернак в художественном сознании Давида Самойлова: пьеса “Живаго и другие”» (научный руководитель – М. М. Гельфонд), а в кампусе московском – работа того же статуса М. Б. Иткина «Детство, отрочество и юность в “мемуарных” стихотворениях и прозе Д. С. Самойлова». Исследовательские сюжеты «Самойлов и Л. Н. Толстой» (легко догадаться, что без него не обошлась и работа М. Б. Иткина) и «Самойлов и Пастернак» видятся мне не менее захватывающими и перспективными, чем давно обсуждаемая (увы, далеко не всегда ответственно) «пушкиниана» Самойлова и лишь минимально затронутые напряженные диалоги нашего поэта с Тютчевым, А. К. Толстым, Блоком, Хлебниковым, Солженицыным. Тут, как говорится, все впереди – общение с молодыми коллегами одаривает не только радостью, но и надеждой. Как и восклицание студентки, работающей на совсем иной деланке филологического

поля, что впервые услышала на лекции «Названия зим»: «Какое замечательное стихотворение!» Так и есть; кто бы сомневался. Но когда осознаешь, что давно любимые тобой, много раз обдуманые, «разложенные по элементам» стихи могут восприниматься как счастливая новость, право слово, думаешь, что в занятиях твоих есть некоторый смысл.

Многолетние «разноцветные» разговоры о Самойлове сыграли огромную роль в моей работе. Я сердечно признателен всем, кто давал мне советы, оспаривал мои решения, озадачивал вопросами, делился наблюдениями и сомнениями в собственных прочтениях, вышучивал мои восторги, делился своей радостью – родным, друзьям, коллегам, ученикам, обычным читателям (не моим, а самойловским!). Не называю имен: во-первых, места для полного списка потребовалась бы столько, что даже мои (и Самойлова!) благородные издатели застонали бы; во-вторых, как ни старайся, все равно кого-нибудь забудешь (и тем обидишь); в-третьих же, надеюсь, что появятся у меня новые собеседники-*совопросники*, что разговор о поэте будет продолжаться, а список тех, кому хочется сказать спасибо, – пополняться.

Низко кланяюсь Галине Ивановне Медведевой, без постоянной щедрой помощи которой не было бы ни этой книги, ни многого другого.

Предуведомление пятое. О том, как все это началось

«Обратно крути киноленту, / Механик, сошедший с ума» [281], – нет, не в 2000 год, куда дальше – в осень 1973-го.

«Красиво падала листва...» [114]. По Нескучному саду шли два десятиклассника. Они, то есть мы – мой недавно обретенный друг и я, прогуливались, но, как ни странно, в этот раз не прогуливали. Просто подавляющее большинство наших одноклассников изучали английский, а мы – другие языки. Мой друг – французский (выучил так, что стал замечательным переводчиком!), я – немецкий (выучил настолько, чтобы сдать вступительный в университет; дальше, по сути, не продвинулся, о чем не перестаю жалеть). Мы на законных основаниях получали час свободы.

В школу, где учился мой друг, я перешел несколько дней назад. Дружба началась сразу. (Прежде мы были поверхностно знакомы, но это другая – довольно смешная – история.) Оба писали стихи. Мой друг – удивительные, так пишет и по сей день, увы, не получая откликов на нечастые публикации. Я – оголтело выпендренные. (С этой невысокой болезнью справился года через два или три – не позже.) Оба, что много интереснее, упоенно читали стихи. Мы уже выяснили, что больше всех любим Пушкина. (Так и сейчас.) Что любим

Батюшкова, Жуковского, Тютчева, Некрасова (тут я удивился – думал, что один такой), Блока (здесь я малость покривил душой), раннего Маяковского. Друг мой хорошо знал Ахматову. В библиотеке его родителей был «Бег времени». Зато – не все мне приbedняться! – я лучше знал и сильнее любил Пастернака. Читали мы уже Цветаеву и Мандельштама. Понятно, что восхищаясь. Менее понятно, что мы в их поэзии в ту пору понимали. Не помню, уже тогда или немного позже пробил для моего друга час Анненского, страсть к которому он быстро передал мне. Многое забылось, вернее, смешалось с тем, о чем мы разговариваем почти полвека. Но главное помнится ясно.

Мы уже выяснили, кого из поэтов-современников единодушно ставим выше всех. И это был не Бродский – даже к концу учебного года мы знали хорошо если два десятка его стихотворений. Исключительно ранних, так сказать, пилигримных. Правда, потом пошло-поехало, в университете нас новые, более продвинутые, друзья быстро просветили. «Остановку в пустыне» мы прочли уже на первом курсе. Нет, это был не Бродский, а совсем другой. Кто – сами догадайтесь.

Мы шли по Нескучному и говорили о стихах. О Пастернаке, Маяковском, бог весть о ком еще, о нашем любимом поэте. И, продолжая разговор, мой друг сказал: «А еще замечательный поэт – Самойлов». Я важно кивнул. Я эту фамилию слышал. Мол, есть такой – кто-то считает, что он и

есть первый поэт России. (Да, «Дни»-то ведь уже вышли!) Но сам я Самойлова еще не читал. То есть читал, но не соотнес упоенно читавшегося мною поэта с тем, о котором говорил мой друг.

Книг Самойлова в родительской библиотеке не было. Хотя отец стихи любил и стремился не упускать важного и интересного. Был у нас Слуцкий (в том числе множество стихов, переписанных маминной рукой, – из тех, что достигли печати лишь в перестройку), был тот, кого мой друг и я ставили вровень с самыми великими, много всякого у нас было. В том числе книжечки серии «Мастера поэтического перевода». А среди них та, что здесь должна быть обозначена так: «Поэты-современники». Ее-то я читал. И от фрагментов «Бала в опере» и «Эдисона» взлетал на седьмое небо. Так ведь это Тувим и Незвал написали! А «Слово о Якубе Шеле» – Бруно Ясенский:

Танцевала хата, стол,
три коня, четвертый вол,
вся скотина топотала, –
кавалеров не хватало.

Танцевала печь с метлой –
не женись на молодой!
Конь с ведром, с людьми – посуда,
бог их знает, кто откуда.

Как же мне это нравилось – не меньше, чем сейчас, когда я понимаю, что это стихи Самойлова. Но больше всего я любил «Праздничную ночь Иоганна-Себастьяна Баха» (как знаю теперь, ночь на самом деле «Пасхальную...»); но такого мракобесия в 1963 году позволить не могли):

Все семейство выехало в Гаген.
Я, один во всем огромном доме,
меряю шагами галереи.

Мне забавны – отблеск позолоты,
пеликаны те резной работы,
облака, что мчатся в эмпирии.

Как люблю я тучи! И хмурый свет в округе.
Словно крепости. Или мои большие фуги.

Не хорошо хвастаться, но был все-таки у меня, мальчика, вкус! Даже странно.

А потом придет вечер. Я скроюсь в беседке.

Ведь лучше всех скрипок моих,
на которых играл я в ударе,
и всех жемчугов, что хранил я в футляре,

чем сынов моих фуги, чем мечты и виденья,
этот сладостный миг, этот миг вдохновенья,

этот миг, когда видишь сквозь ветки и купы
небывалый, огромный, неистовый купол –
это звездное, это весеннее небо!

[Поэты-современники: 33, 29, 31].

Верю, хотя и с трудом, что Галчинский по-польски написал еще лучше. Все равно это стихотворение прекрасно. И написал его Самойлов. Чего осенью 73-го я не понимал...

Важно кивнув, я спросил: «А что тебе нравится?» Он прочел. «Перед снегом».

И начинает уставать вода.
И это означает близость снега.
Вода устала быть ручьями, быть дождем,
По корню подниматься, падать с неба.
Вода устала петь, устала течь,
Сиять, струиться и переливаться.
Ей хочется утратить речь, залечь
И там, где залегла, там оставаться.

Под низким небом, тяжелей свинца,
Усталая вода сияет тускло.
Она устала быть самой собой.
Но предстоит еще утратить чувства,
Но предстоит еще заledenеть
И уж не петь, а, как броня, звенеть.

Ну, а покуда в мире тишина.
Торчат кустов безлиственные прутья.
Распутица кончается. Распутия
Подмерзли. Но земля еще черна.
Вот-вот повалит первый снег.

[145–146]

Потом что-то еще. Что – теперь не припомнить. Да это и не важно. Много, очень много стихов Самойлова, и не только его, слышал я в этом исполнении. Они слились для меня с этим голосом, этим интонационным рисунком, этим проживанием поэтической реальности.

Мы сменили тему. Хотя от поэзии ушли едва ли. Через некоторое время мой друг дал мне «Равноденствие». Историзмом я еще не обзавелся – на год издания, как обычно, внимания не обратил. (Вот-вот! А сейчас за такое небрежение на студентов рычишь!) Совсем свежая – как теперь понимаю! – книжка показалась мне старой – не устаревшей, а существующей давно. Мистицизм мне был чужд не менее историзма, потому не могу сказать, что счел «Равноденствие» существовавшим всегда. Но что-то подобное почувствовал. Без удивления. Как факт, не подлежащий рефлексии.

Нет. Мир не перевернулся. Стихи я писал все более вздорные и заковыристые. Со смыслами разделялся, как повар с картошкой. «И алюминиевые (так!) бревна / Уныло шевелит улан...» Вспомнить страшно, а ведь это далеко не кульминация моей ахинеи. Но уже на первом курсе, когда меня

спрашивали о любимом современном поэте, отвечал без колебаний: такой-то (наш с другом бесспорный фаворит) и Самойлов. Приязнь к такому-то прекратилась практически одновременно с виршеплетством. Сначала казалось, что раньше он и я писали хорошо, а теперь что-то заколодило. Потом случилась в отношении обоих радикальная переоценка ценностей. Самойлов остался *моим* поэтом навсегда. Как мой друг – моим другом.

Ему, Коле (Николаю Николаевичу) Зубкову – тонкому филологу, блестящему переводчику, истинному поэту – посвящаю книгу о том, кому «выпало счастье...».

Глава 1. «Из детства» (1956)

Стихотворение «Из детства» [88] должно числится среди «визитных карточек» Самойлова. Впервые опубликованное во второй книге поэта [ВП: 37] (то есть пролежавшее в столе семь лет), оно входило во все его «суммирующие» прижизненные издания (включая сверхкомпактную брошюру «Библиотеки “Огонька”», 1989) и постоянно читалось автором на поэтических вечерах. «Из детства» открывает самойловскую подборку в составленной Евгением Евтушенко антологии, куда вошли также «Старик Державин» (1962), «Сороковые» (1961), «Зрелость» (1956), «Пестель, поэт и Анна» (1965), «Мне снился сон. И в этом трудном сне...» (1970), «Вот и всё. Смежили очи гении...» (1967, опубликовано – 1977), «Иван и холоп» (1947–1950) и «Смерть Ивана» (1950–1952?) [Строфы века: 647–650].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.